

«Мещанство победит и должно победить»,— пишет Герцен в 1864 году в статье «Концы и начала». «Да, любезный друг, пора прийти к спокойному и смиренному сознанию, что мещанство — окончательная форма западной цивилизации».

Трудно заподозрить Герцена в нелюбви к Европе. Ведь это именно один из тех русских людей, у которых, по выражению Достоевского, «две родины: наша Русь и Европа». Может быть, он сам не знал, кого любит больше — Россию или Европу. Подобно другу своему Бакунину, он был убежден, что последнее освобождение есть дело не какого-либо одного народа, а всех народов вместе, всего человечества, и что народ может освободиться окончательно, только отрекаясь от своей национальной обособленности и входя в круг всечеловеческой жизни. «Всечеловечество», которое у Пушкина было эстетическим созерцанием, у Герцена, первого из русских людей, становится жизненным действием, подвигом. Он по-

жертвовал не отвлеченно, а реально своей любви к Европе своей любовью к России. Для Европы сделался вечным изгнанником, жил для нее и готов был умереть за нее. В минуты уныния и разочарования жалел, что не взял ружья, которое предлагал ему один работник во время революции 1848 года в Париже, и не умер на баррикадах.

Ежели такой человек усомнился в Европе, то не потому, что мало, а потому, что слишком верил в нее. И когда он произносит свой приговор «Я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего», когда утверждает, что в дверях старого мира — «не Катилина, а смерть», и на лбу его цicerоновское: “vixerunt”,— то можно не принимать этого приговора,— я лично его не принимаю,— но нельзя не признать, что в устах Герцена он имеет страшный вес.

В подтверждение своих мыслей о неминуемой победе мещанства в Европе Герцен ссылается на одного из благороднейших представителей европейской культуры, на одного из ее «рыцарей без страха и упрека», на Дж. Ст. Милля.

«Мещанство,— говорит Герцен,— это та самодержавная толпа сплоченной посредственности (conglomerated mediocrity) Ст. Милля, которая всем владеет,— толпа без невежества, но и без образования... Милль видит, что все около него пошлет, мельчает; с отчаянием смотрит на



подвляющие массы какой-то паусной икры, сжатой из мириад мешанской мелко-ты... Он вовсе не преувеличивал, говоря о суживании ума, энергии, о стертости личностей, о постоянном мельчании жизни, о постоянном исключении из нее общечеловеческих интересов, о сведении ее на интересы торговой конторы и мешанского благосостояния. Милль прямо говорит, что по этому пути Англия делается Китаем,— мы к этому прибавим: и не одна Англия».

«Может, какой-нибудь кризис и спасет от китайского маразма. Но откуда он придет, как? Этого я не знаю, да и Милль не знает». «Где та могучая мысль, та страстная вера, то горячее упование, которое может закалить тело, довести душу до судорожного ожесточения, которое не чувствует ни боли, ни лишений и твердым шагом идет на плаху, на костер? Посмотрите кругом — что в состоянии поднять народы?»

Христианство обмелело и успокоилось в покойной и каменистой гавани реформации; обмелела и революция в покойной и песчаной гавани либерализма... С такой снисходительной церковью, с такой ручной революцией — западный мир стал отстаиваться, уравниваться».

«Везде, где людские муравейники и улы достигали относительного удовлетворения и уравнивания, — достижение вперед делалось тише, и тише, пока, наконец, не наступала последняя тишина Китая».

По следам «азиатских народов, вышедших из истории», вся Европа «тихим, невозмущаемым шагом» идет к этой последней тишине благополучного муравейника, к «мешанской кристаллизации» — китаизации.

Герцен соглашается с Миллем: «Если в Европе не произойдет какой-нибудь неожиданный переворот, который возродит человеческую личность и даст ей силу победить мешанство, то, несмотря на свои благородные antecedенты и свое христианство, Европа делается Китаем».

«Подумай, — заключает Герцен письмо неизвестному русскому, — кажется, всему русскому народу, — подумай, и у тебя волос станет дыбом».

Ни Милль, ни Герцен не видели последней причины этого духовного мешанства. «Мы вовсе не врачи! Мы — боль», — предупреждает Герцен. И действительно, во всех этих пророчествах, — не только для Милля, но отчасти и для Герцена, пророчествах на собственную голову, — нет никакого вывода, знания, а есть лишь крик неизвестной боли, неизвестного ужаса. Причины мешанства Герцен и Милль не могли видеть, как человек не может видеть лицо свое без зеркала. То, чем они страдают и чего боятся в других, находится не только в других, но и в них самих, в последних непереступаемых и даже невидимых для них пределах их собственного религиозного, вернее, антирелигиозного сознания.

Последний предел всей современной европейской культуры — позитивизм, или, по терминологии Герцена, «научный реализм», как метод не только частного научного, но и общего философского и даже религиозного мышления. Родившись в науке и философии, позитивизм вырос из научного и философского сознания в бессознательную религию, которая стремится упразднить и заменить собою все бывшие религии. Позитивизм, в этом широком смысле, есть утверждение мира, открытого чувственному опыту, как единственно реального, и отрицание мира сверхчувственного; отрицание конца и начала мира в Боге и утверждение бесконечного и безначального продолжения мира в явлениях, бесконечной и безначальной, непроницаемой для человека среды явлений, середины, посредственности, той абсолютной, совершенно плотной, как Китайская стена, «сплоченной посредственности», *conglomerated mediocrity*, того абсолютного мешанства, о котором говорят Милль и Герцен, сами не разумея последней метафизической глубины того, что говорят.

В Европе позитивизм только делается — в Китае он уже сделался религией. Духовная основа Китая, учение Лао Дзы и Конфуция, — совершенный позитивизм, религия без Бога, «религия земная, безнебесная», как выражается Герцен о европейском

научном реализме. Никаких тайн, никаких углублений и порываний к «мирам иным». Все просто, все плоско. Несокрушимый здравый смысл, несокрушимая положительность. Есть то, что есть, и ничего больше нет, ничего больше не надо. Здешний мир — все, и нет иного мира, кроме здешнего. Земля — все, и нет ничего, кроме земли. Небо — не начало и конец, а безначальное и бесконечное продолжение земли. Земля и небо не будут едино, как утверждает христианство, а суть едино. Величайшая империя земли и есть Небесная империя, земное небо. Серединное царство — царство вечной середины, вечной посредственности, абсолютного мещанства — «царство не Божие, а человеческое», как определяет опять-таки Герцен общественный идеал позитивизма. Китайскому поклонению предкам, золотому веку в прошлом соответствует европейское поклонение потомкам золотого века в будущем.

Ежели не мы, то потомки наши увидят рай земной, земное небо, — утверждает религия прогресса. И в поклонение предкам, и в поклонение потомкам одинаково принесется в жертву единственное человеческое лицо, личность безличному, бесчисленному роду, народу, человечеству — «паюсной икре, сжатой из мириад мещанской мелкоты», грядущему вселенскому полиппяку и муравейнику. Отрекаясь от Бога, от абсолютной Божественной Личности, человек неминуемо отрекается от своей собственной человеческой личности. Отказываясь, ради чечевичной похлебки умеренной сытости, от своего божественного голода и божественного первородства, человек неминуемо впадает в абсолютное мещанство.

Китайцы — совершенные желтолицые позитивисты; европейцы — пока еще несовершенные белолицые китайцы. В этом смысле американцы совершеннее европейцев. Тут крайний Запад сходится с крайним Востоком.

Для Герцена и Милля то столкновение Китая с Европой, которое начинается, но, вероятно, не кончится на наших глазах, имело бы особенно вещей, грозный смысл. Китай довел до совершенства позитивное созерцание, но позитивного действия, всей прикладной технической стороны положительного знания недоставало Китаю. Япония, не только военный, но и культурный авангард Востока, взяла у европейцев эту техническую сторону цивилизации и сразу сделалась для них непобедимой. Пока Европа противопоставляла скверным китайским пушкам свои лучшие, она побеждала, и эта победа казалась торжеством культуры над варварством. Но когда сравнялись пушки, то и культуры сравнялись. Оказалось, что у Европы ничего и не было, кроме пушек, чем бы она могла показать свое культурное превосходство над варварами. Христианство? Но «христианство обмелело»; оно еще имеет некоторое довольно, впрочем, сомнительное значение для внутренней европейской политики; но когда современному христианству, переезжая за границу Европы, приходится обменивать свои кредитные билеты на чистое золото, то за них никто ничего не дает. Да и в самой Европе бесстыднейшие стыдятся говорить о христианстве, по поводу таких серьезных вещей, как война. Некогда источник великой силы, христианство сделалось теперь источником великой немощи, самоубийственной непоследовательности, противоречивости всей западноевропейской культуры. Христианство — эти старые семитические дрожжи в арийской крови — и есть именно то, что не дает ей устояться окончательно, мешает последней «кристаллизации», китаизации Европы. Кажется, позитивизм белой расы навеки попорчен, «подмочен» «метафизическим и теологическим периодом». Позитивизм желтой расы вообще и японской в частности — это свеженькое яичко, только что снесенное желтою монгольской курочкой от белого арийского петушка — ничем не попорчен: каким он был за два, за три тысячелетия, таким и остался, таким навсегда останется. Позитивизм европейский все еще слишком умственный, то есть поверхностный, так сказать, накожный; желтые люди — позитивисты до мозга костей. И культурное наследие веков — китайская метафизика, теология — не ослабляет, а усиливает этот естественный физиологический дар. Кто верен своей физиологии, тот и последователен, кто последователен, тот и силен,

а кто силен, тот и побеждает. Япония победила Россию. Китай победит Европу, если только в ней самой не совершится великий духовный переворот, который опрокинет вверх дном последние метафизические основы ее культуры и позволит противопоставить пушкам позитивного Востока не одни пушки позитивного Запада, а кое-что более реальное, более истинное.

Вот где главная «желтая опасность» — не извне, а внутри; не в том, что Китай идет в Европу, а в том, что Европа идет в Китай. Лица у нас еще белые; но под белой кожей уже течет не прежняя густая, алая, арийская, а все более жидкая, «желтая» кровь, похожая на монгольскую сукровицу; разрез наших глаз прямой, но взор начинает косить, суживаться. И прямой белый свет европейского дня становится косым «желтым» светом китайского заходящего или японского восходящего солнца. В настоящее время японцы кажутся переодетыми обезьянами европейцев; кто знает, может быть, со временем европейцы и даже американцы будут казаться переодетыми обезьянами японцев и китайцев, неисправимыми идеалистами, романтиками старого мира, которые только притворяются господами нового мира, позитивистами. Может быть, война желтой расы с белой — только недоразумение: свои своих не узнали. Когда же узнают, то война окончится миром, и это будет уже «мир всего мира», последняя тишина и покой небесный. Небесная империя. Серединное царство по всей земле от Востока до Запада, окончательная «кристаллизация», всечеловеческий улей и муравейник, сплошная, облепляющая шар земной, «паюсная икра» мещанства, и даже не мещанства, а хамства, потому что достигшее своих пределов и воцарившееся мещанство есть хамство.

— Подумай, — можно заключить эти мысли, так же, как некогда заключил Герцен, — подумай, и у тебя волос станет дыбом.

У Герцена были две надежды на спасение Европы от Китая.

Первая, более слабая — на социальный переворот. Герцен ставил дилемму так:

«Если народ сломится — новый Китай неминуем. Но если народ сломит — неминуем социальный переворот».

Спрашивается: чем же и во имя чего народ, сломивший социальный гнет, сломит и внутреннее духовное начало мещанской культуры? Какою новою верою, источником нового благородства? Каким вулканическим взрывом человеческой личности против безличного муравейника?

Сам Герцен утверждает:

«За большинством, теперь господствующим (то есть за большинством капиталистического мещанства), стоит еще большее большинство кандидатов на него (то есть пролетариата), для которых нравы, понятия, образ жизни мещанства — единственная цель стремления; их хватит на десять перемен. Мир безземельный, мир городского пролетариата не имеет другого пути спасения и весь пройдет мещанством, которое в наших глазах отстало, а в глазах полевого населения и пролетариев представляет образованность и развитие».

Но если народ «весь пройдет мещанством», то, спрашивается, куда же он выйдет? Или из настоящего несовершенного мещанства — в будущее совершенное, из неблагополучного капиталистического муравейника — в благополучный социалистический, из черного железного века Европы — в «желтый» золотой век и вечность Китая? У голодного пролетария и у сытого мещанина разные экономические выгоды, но метафизика и религия одинаковые — метафизика умеренного здравого смысла, религия умеренной мещанской сытости. Война четвертого сословия с третьим, экономически реальная, столь же не реальна метафизически и религиозно, как война желтой расы с белой; и там и здесь сила против силы, а не Бог против Бога. В обоих случаях одно и то же недоразумение: за внешнею, временною войною — внутренний вечный мир.

Итак, на вопрос, чем народ победит мещанство, у Герцена нет пока никакого ответа.

Правда, он мог бы позаимствовать ответ у своего друга, анархиста Бакунина, мог бы перейти от социализма к анархизму. Социализм желает заменить один общественный порядок другим, власть меньшинства — властью большинства; анархизм отрицает всякий общественный порядок, всякую внешнюю власть, во имя абсолютной свободы, абсолютной личности,— этого начала всех начал и конца всех концов. Мещанство, непобедимое для социализма, кажется (хотя только до поры до времени, до новых, еще более крайних, выводов, которых, впрочем, ни Герцен, ни Бакунин не предвидели) победным для анархизма. Сила и слабость социализма, как религии, в том, что он предопределяет будущее социальное творчество и тем самым невольно включает в себя дух вечной середины, мещанства, неизбежное метафизическое следствие позитивизма, как религии, на котором и сам он, социализм, построен. Сила и слабость анархизма в том, что он не предопределяет никакого социального творчества, не связывает себя никакой ответственностью за будущее перед прошлым, и с исторической мели мещанства выплывает в открытое море неизведанных исторических глубин, где предстоит ему или окончательное крушение, или открытие нового неба и новой земли. «Мы должны разрушать, только разрушать, не думая о творчестве,— творить не наше дело»,— проповедует Бакунин. Но тут уже кончается сознательный позитивизм и начинается скрытая, бессознательная мистика, пусть безбожная, противобожная, но все же мистика. Когда Бакунин в “*Dieu et l'etat*”^{*} полагает свой «анти-теологизм», вернее, антитеизм теоретической основой безвластия — он касается слишком опасных пределов отрицания, где минус на минус, отрицание на отрицание легко дает неожиданный плюс, нечаянное утверждение какой-то обратной, бессознательной религии. Бакунинский «абсолютно свободный человек» слишком похож на фантастического «сверхчеловека», нечеловека, чтобы со спокойным сердцем мог его принять Герцен, который боится всякой мистики больше всего, даже больше самого мещанства, не сознавая, что этот суеверный страх мистики уже имеет в себе нечто мистическое. Как бы то ни было, правоверный социалист Герцен отшатнулся от вставшего в ересь анархиста Бакунина.

В конце жизни Герцен потерял или почти потерял надежду на социальный переворот в Европе, кажется, впрочем, потому, что перестал верить не столько в его возможность, сколько в спасительность.

Тогда-то загорелся последний свет в надвигавшейся тьме, последняя надежда в наступавшем отчаянии — надежда на Россию, на русскую сельскую общину, которая будто бы спасет Европу.

II

Ежели Герцен был Мефистофелем Бакунина в разоблачении бессознательной мистики анархического «подполья», то Бакунин, в свою очередь, оказался Мефистофелем Герцена в разоблачении столь же бессознательной мистики русской общины, как спасительницы Европы.

«Вы готовы простить,— писал Бакунин Огареву и Герцену с Исии в 1866 году,— пожалуй, готовы поддерживать все, если не прямо, так косвенно, лишь бы оставалось неприкосновенным ваше мистическое святая святых — великорусская община, от которой мистически, не рассердитесь за обидное, но верное слово, вы ждете спасения не только для великорусского народа, но и всех славянских земель, для Европы, для мира. А кстати, скажите, отчего вы не сообразовали отвечать серьезно и ясно на серьезный упрек, сделанный вам: вы запнулись за русскую избу, которая сама запнулась, да и стоит века в китайской неподвижности со своим правом на землю. Почему эта община, от которой вы ожидаете таких чудес в будущем, в продолжение десяти веков прошедшего существования не произвела из себя ничего; кроме самого гнусно-

* «Бог и государство» (фр.).

го рабства? Гнусная гнилость и совершенное бесправие патриархальных обычаев, бесправие лица перед миром и всеподавляющая тягость этого мира, убивающая всякую возможность индивидуальной инициативы, отсутствие права не только юридического, но простой справедливости в решениях того же мира и жестокая бесцеремонность его отношений к каждому бессильному и небогатому члену, его систематичная притеснительность к тем членам, в которых проявляются притязания на малейшую самостоятельность, и готовность продать всякое право и всякую правду за ведро водки — вот, во всецелости ее настоящего характера, великорусская крестьянская община».

Что мог бы правоверный Герцен ответить еретiku Бакунину на эту анафему? Ничего позитивного, а разве только мистическое: *credo, quia absurdum*^{*}, — так же, впрочем, как и Бакунин ничего не мог бы ответить Герцену по вопросу об «антитеологическом», но все-таки слишком теологическом основании анархизма, этого непонятного с точки зрения позитивной, то есть относительной, абсолютного освобождения абсолютной личности. В том-то и дело, что у обоих, у Герцена и Бакунина, были такие предельные выводы, дойдя до которых они должны были, глядя друг другу в глаза, рассмеяться, как авгуры. Но они хотели быть не авгурами, жрецами старых богов, а пророками новых, и потому избегали смотреть друг другу в глаза. Каждый, чтобы не смеяться над самим собою, смеялся над своим противником; но во время этого взаимного смеха царапали кошки на сердце обоих.

Почему, в самом деле, общинное владение муравейником должно избавить муравьев от муравьиной участи? И чем дикое рабство лучше культурного хамства?

Когда Герцен бежал из России в Европу, он попал из одного рабства в другое, из материального в духовное. А когда захотел обратно бежать из Европы в Россию, то попал из европейского движения к новому Китаю в старую «китайскую неподвижность» России. В обоих случаях — из огня да в полымя. Какой из двух Китаев лучше, старый или новый? Оба хуже, как отвечают дети. Герцен это знал, но не хотел знать. И когда бегал из одного Китая в другой, то от себя самого бегал, метался в последнем ужасе последнего сознания, что уже не во что верить ни в Европе, ни в России.

«Помилуйте, к чему же после этого вся история?» — спрашивает он себя в одном из своих безнадежных гамлетовских монологов.

«Да и все на свете к чему? Что касается до истории, я не делаю ее и потому за нее не отвечаю»

Но ведь это Каинов ответ. Ведь это байроновская *Darkness*, последняя «тьма», предел отчаяния, на какое только способна душа человеческая. Ведь ежели вся история бессмыслица, то не из-за чего было и огород городить, бороться с мещанством, деспотизмом, реакцией: будь что будет, все равно весь мир — «дьяволов водевиль»; и, обращаясь ко всему миру, остается воскликнуть, как в 1849 году, после революции, восклицает Герцен, обращаясь к старой Европе:

«Да здравствует разрушение и хаос! Да здравствует смерть!»

Или, что еще хуже: да здравствует мещанство!

«Христианство обмелело», — утверждает Герцен. Если обмелело, значит, когда-то было глубоким. Почему же не исследует он эту глубину христианства? Не потому ли, что позитивный лот, пригодный для мели христианства, не хватает до дна в глубоких местах?

Вместе с христианством, — добавляет Герцен, — «обмелела и революция». Если они обмелели вместе, не значит ли это, что мель у них общая и общая глубина. Мель позитивная — абсолютное мещанство человека без Бога, глубина религиозная абсолютное благородство человека в Боге. Сам Герцен признает связь революционных идей с религиозными, понимает, что «декларация прав человеческих» не могла бы явиться до и без христианства.

^{*} Верю, потому что абсурдно (лат.).

«Революция, говорит он, — так же как реформация, стоит на церковном погосте. Вольтер, благословивший Франклинова внука, «во имя Бога и свободы», такой же богослов, как Василий Великий и Григорий Назианзин, только разных толков. Лунный холодный ответ католицизма (то есть одной из величайших попыток вселенского христианства) прошел всеми судьбами революции. Последнее слово католицизма сказано реформацией и революцией; они обнаружили его тайну; мистическое искупление разрешено политическим освобождением. Символ веры Никейского собора выразился признанием прав каждого человека в символе последнего вселенского собора, то есть конвента 1792 года. Нравственность евангелиста Матфея — та же самая, которую проповедует деист Ж.-Ж.Руссо. Вера, любовь и надежда — при входе; свобода, братство и равенство — при выходе».

Если так, то, казалось бы, прежде чем произносить смертный приговор европейской культуре и бежать от нее к русскому варварству, в отчаянии последнего безверия, следовало подумать, нельзя ли эти два обмелевшие начала всемирной культуры — религию и общественность — как-нибудь сдвинуть с их общей позитивной мели в их общую религиозную глубину. Почему же Герцен об этом не думает? Кажется, все потому же: религиозных глубин боится он еще больше, чем позитивных мелей; ему мерещится в глубине всякой мистики свирепое чудовище реакции, своего рода апокалипсический зверь, выходящий из бездны.

За осторожного Герцена подумал и ответил неосторожный Бакунин, который свел социологическую дилемму Герцена к дилемме теологической или «антитеологической»:

“Dieu est, done l'homme est esclave L'homme est libre, done il n'y a point de Dieu. Je defie qui que ce soit de sortir de ce cercle et maintenant choisissons”.

«Бог есть, значит, человек — раб. Человек свободен, значит, нет Бога. Я утверждаю, что никто не выйдет из этого круга, а теперь выберем»

«Религия человечества, — заключает Бакунин, — должна быть основана на развалинах религии Божества».

Вольтер утверждал: если нет Бога, надо его изобрести. Бакунин утверждает как раз противоположное: если есть Бог, надо Его упразднить. Это напоминает слова черта Ивану Карамазову:

«Надо разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело. Раз человечество отречется поголовно от Бога, то наступит все новое».

В 1869 году, на Бернском конгрессе лиги Мира и Свободы, Бакунин предложил принять в основу социалистической программы отрицание всех религий и признание, что «бытие Бога несогласно со счастьем, достоинством, разумом, нравственностью и свободой людей».

Когда большинство отвергло эту резолюцию, Бакунин с некоторыми членами из меньшинства образовал новый союз, Alliance Socialists первый параграф коего гласил: «Союз объявляет себя безбожным» (athee).

Этот яростный «антитеологизм» есть уже не только отрицание религии, но и религия отрицания, какая-то новая религия без Бога, полная не менее фанатической ревностью, чем старые религии с Богом. Тургенев удивился, услышав о выходе Бакунина на Бернском конгрессе. «Что с ним случилось! — спрашивал у всех Тургенев. — Ведь он всегда был верующим, даже Герцена бранил за атеизм. Что же с ним такое случилось?»

Понятно, для чего нужно черту уничтожить в людях идею о Боге: на то он и черт, чтобы ненавидеть Бога. Но М. А. Бакунин, несмотря на всю свою антитеологическую ярость, не черт, а простой человек, да к тому же еще религиозный. Что же с ним, в самом деле случилось? Отчего он вдруг возненавидел имя Божие и, как одержимый, начал богохульствовать?

«Если есть Бог, то человек — раб», утверждает Бакунин. Почему? Потому что «сво-

бода есть отрицание всякой власти, а Бог есть власть». Это положение Бакунин считает аксиомой. И действительно, это было бы аксиомой, если бы не было Христа. Христос открыл людям, что Бог — не власть, а любовь, не внешняя сила власти, а внутренняя сила любви. Любящий не желает рабства любимому. Между любящим и любимым нет иной власти, кроме любви; но власть любви уже не власть, а свобода.

Совершенная любовь — совершенная свобода. Бог — совершенная любовь и, следовательно, совершенная свобода. Когда Сын говорит Отцу: не Моя, а Твоя да будет воля — это не послушание рабства, а свобода любви. Нарушить волю Отца Сын не потому не хочет, что не может, а потому не может, что не хочет.

Дилемме Бакунина, утверждающей Бога ненависти и рабства, то есть, в сущности, не Бога, а дьявола, можно противопоставить другую дилемму, утверждающую истинного Бога, Бога любви и свободы:

«Бог есть — значит, человек свободен, человек — раб, значит, нет Бога. Я утверждаю, что никто не выйдет из этого круга, а теперь выберем».

Все верующие в Бога всегда были рабами, согласился бы Герцен с Бакуниным. Но идею о Боге, идею высшего метафизического порядка нельзя подчинять опыту низшего исторического порядка. Да и полно, все ли верующие в Бога были рабами? А Иаков, борющийся с Богом, а Иов, роптавший на Бога, а израильские пророки, а христианские мученики?

Бакунин и Герцен, желая бороться с метафизической идеей о Боге, на самом деле борются только с историческими призраками, искажающими преломлениями этой идеи в туманах политических низин; борются не с именем Божиим, а с теми богохульствами, которыми «князь мира сего», вечный политик, старается закрыть от людей самое святое и страшное для него, дьявола, из всех имен Божиих: Свобода.

Конечно, величайшее преступление истории, как бы второе распятие, уже не Богочеловека, а богочеловечества, заключается в том, что на кресте, знамени божественной свободы, распяли свободу человеческую. Но неужели Бакунин и Герцен решились бы утверждать, что в этом преступлении участвовал сам Распятый, что Христос желал людям рабства? Неужели Бакунин и Герцен никогда не думали о том, что значит ответ Христа дьяволу, который предлагает Ему власть над всеми царствами мира сего: ибо она принадлежит мне, — говорит дьявол, — и я кому хочу, даю ее. Ежели Тот, Кто сказал: Мне принадлежит всякая власть на земле и на небе, — отверг всякую государственную власть как принадлежащую дьяволу, то не значит ли это, что между истинною внутреннею властью любви, свободой Христовой, и внешнею ложною властью, рабством, — такая же разница, как между царством Божиим и царством дьявола? Неужели Бакунин и Герцен никогда не думали о том, что значит и это слово Христа: Я научу вас истине, и истина сделает вас свободными. Ежели для них это не сдержанное, то, может быть, на самом деле, это только не понятное, не вмещенное слово: Вы теперь не можете вместить; когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. И на ту последнюю истину любви, которая сделает людей свободными.

В первом царстве — Отца, Ветхом завете, открылась власть Божия, как истина; во втором царстве — Сына, Новом завете, открывается истина, как любовь; в третьем, и последнем царстве — Духа, в Грядущем завете, откроется любовь, как свобода. И в этом последнем царстве произнесено и услышано будет последнее, никем еще не произнесенное и не услышанное имя Господа Грядущего: Освободитель.

Но здесь мы уже сходим не только с этого берега, на котором стоит европейская культура, — со своим мещанством прошлого и настоящего, — но и с того берега, на котором стоит Герцен перед мещанством будущего; мы выплываем в открытый океан, в котором исчезают все берега, в океан грядущего христианства, как одного из трех откровений всеединого Откровения Троицы.

Трагедия Герцена — в раздвоении: сознанием своим он отвергал, бессознательно —

искал Бога. Сознанием своим так же, как в бакунинской дилемме, из принятой послылки: человек свободен, делал вывод: значит, нет Бога; бессознательно чувствовал неотразимость обратной дилеммы: если нет Бога, то нет и свободы. Но сказать: нет свободы,— для Герцена было все равно, что сказать: нет смысла в жизни, не для чего жить, не за что умереть. И действительно, он жил для того и умер за то, во что уже почти не верил.

Это — не первый пророк и мученик нового, а последний боец, умирающий гладиатор старого мира, старого Рима.

Ликует буйный Рим... торжественно гремит

Рукоплесканьями широкая арена,—

А он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит.

Во прахе и крови скользят его колена.

Зверь, с которым борется этот гладиатор,— мещанство будущего. Подобно своим предкам, северным варварам, он вышел на борьбу, голый, без щита и оружия. А другой зверь, «тысячеголовая гидра, паюсная икра» мещанства прошлого и настоящего, глядит на юного скифа со ступеней древнего амфитеатра.

И кровь его течет — последние мгновенья

Мелькают — близок час... Вот луч воображенья

Сверкнул в его душе...

Предсмертное видение Герцена — Россия, как «свободной жизни край», и русская крестьянская община, как спасение мира. Старую любовь свою он принял за новую веру, но, кажется, в последнюю минуту понял, что и эта последняя вера — обман. Если, впрочем, обманула вера, то любовь не обманула; в любви его к России было какое-то истинное прозрение: не крестьянская община, а христианская общественность, может быть, в самом деле, будет новой верой, которую принесут юные варвары старому Риму.

А пока умирающий все-таки умирает — без всякой веры:

...Прости, развратный Рим! Прости, о, край родной!

В судьбе Герцена, этого величайшего русского интеллигента, предсказан вопрос, от которого зависит судьба всей русской интеллигенции: поймет ли она, что лишь в грядущем христианстве заключена сила, способная победить мещанство и хамство грядущее? Если поймет, то будет первым исповедником и мучеником нового мира; а если нет, то, подобно Герцену,— только последним бойцом старого мира, умирающим гладиатором.

III

Когда будут говорить: мир, мир,— тогда внезапно нападет на них пагуба. Это пророчество никогда не казалось ближе к исполнению, чем в наши дни.

В то самое время, когда Запад в лице России заключает мир с Востоком и все народы повторяют: мир, мир,— происходит воинственное свидание в Свинемюнде. Два просвещеннейшие народа сошлись только для того, чтобы показать друг другу бронированные кулаки. Точно два хищных зверя подкрались друг к другу, сдвинули морды, рыча и скаля зубы, обнюхались, ошетинились, готовые броситься, чтобы растерзать друг друга, и, пяясь, молча разошлись.

Это не реальное событие, а идеальное знамение современной европейской культуры.

Внешняя политика только циничское обнажение внутренней. «По плодам узнаете их». Плод внутреннего, духовного мещанства внешнее международное зверство — милитаризм, шовинизм.

И у древней римской волчицы были острые зубы, была кровожадная хищность к политике. Но когда дело доходило до некоторых общих идей — до Рах гомана, идеи вселенского мира и Вечного Града, воплощения вечного разума,— Рим останавливался и благоговейно склонял свои fasces, значки легионов с победоносными орлами, перед этими нерушимыми святынями. И в самую глухую ночь средневекового варварства, среди феодальной междоусобицы, народы прекращали войны и слагали оружие, по мановению кроткого старца, римского первосвященника, который напоминал им завет Христа: да будет един пастырь и едино стадо.

Теперь уже — ни римской веси, ни римской церкви, никакой общей идеи, никакой общей святыни. Над «христианскими» государствами, этими старыми готическими лавочками, все еще возвышается кое-где полусгнивший деревянный протестантский или ржавый медный католический крест, но никто уже не обращает на них внимания. Религия современной Европы — не христианство, а мещанство. От благоразумного сытого мещанства до безумного голодного зверства один шаг. Не только человек человеку, но и народ народу — волк. От взаимного пожирания удерживает только взаимный страх, узда слишком слабая для расшвырявшихся зверей. Не сегодня, так завтра они бросятся друг на друга, и начнется небывалая бойня.

У одного французского писателя Вилье де Лилль Адана есть фантастический рассказ о двух соседних городах, населенных честными добрыми мещанами и лавочниками: поссорившись из-за какого-то вздора, город идет войной на город, и, несмотря на трусость или вследствие этой трусости, лавочники истребляют лавочников так, что от всей благополучной мещанской культуры остаются лишь рожки да ножки.

Международная политика современной Европы напоминает политику этих трусливых и свирепых лавочников.

Когда вглядываешься в лица тех, от кого зависят ныне судьбы Европы,— вспоминаются предсказания Милля и Герцена о неминуемой победе духовного Китая. Прежде бывали в истории изверги, Тамерланы, Атиллы, Борджиа. Теперь уже не изверги, а люди как люди. Вместо скипетра — аршин, вместо Библии — счетная книга, вместо алтаря — прилавок. Какая самодовольная пошлость и плоскость в выражении лиц! Смотришь и «дивисься удивлением великим», как сказано в Апокалипсисе: откуда взялись эти коронованные лакеи Смердяковы, эти торжествующие хамы?

Да, со времени Герцена и Милля мещанство сделало в Европе страшные успехи.

Все благородство культуры, уйдя из области общественной, сосредоточилось в уединенных личностях, в таких великих отшельниках, как Ницше, Ибсен, Флобер и все еще самый юный из юных — старец Гете. Среди плоской равнины мещанства эти бездонные артезианские колодцы человеческого духа свидетельствуют о том, что под выжженной землею еще хранятся живые воды. Но нужен геологический переворот, землетрясение, чтобы подземные воды могли вырваться наружу и затопить равнину, снести муравьиные кучи, опрокинуть старые лавочки мещанской Европы. А пока мертвая засуха.

И даже великие отшельники европейского гения, только что, выходя из круга личной культуры, касаются общности,— теряют свое благородство, пошлеют, мелеют, истощаются, как степные реки в песках.

Когда Гете говорит о французской революции, он вдруг никнет к земле, точно по какому-то злему волшебству великан сплющивается, сморщивается в карлика, из эллинского полубога становится немецким бургером и — да простит мне тень Олимпийца — немецким филистером, «господином фон Гете», тайным советником Веймарского герцога и честным сыном честного франкфуртского лавочника. Когда

Флобер утверждает: *la politique est faite pour la canaille**, — с грустью вспоминаешь салон принцессы Матильды и другие раззолоченные хлевы второй империи, где металл этот Симеон-столпник эстетики жемчуг перед свиньями, проповедуя свою новую олигархию из «ученых мандаринов». Когда Ницше делает глазки не только Бисмарку, но и русскому самодержцу, как величайшим проявлением «воли к могуществу» — “*Witte zur Macht*” среди современной европейской немощи, то и на бледном челе «распятого Диониса» выступает то же черное пятно мещанской заразы. Всех благороднее, потому что откровеннее всех, кажется Ибсен, который свое отношение к обществу выразил двумя словами: враг народа.

А друзья народа, такие гениальные вожди демократии, как Лассаль, Энгельс, Маркс, проповедуя социализм, не только не предупреждают практически, но и теоретически не предвидят той опасности «нового Китая», «духовного мещанства», которых так боялись Герцен и Милль.

И в ответ социалистам звучит страшная песня новых троглодитов:

*Vive le son, vive le son
De l'explosion! ***

Анархизм — последняя судорога уже не общественного, а личного бунта против нестерпимого гнета государственного мещанства.

Некогда всю глубину мировой скорби, связанной с этим провалом европейской общности, измеряли такие певцы одинокого отчаяния, как Леопарди и Байрон. Теперь уже ничей взор не измерит этой глубины: она оказалась бездонной. Молча обходят ее зрячие, слепые в нее молча падают.

Но тут невольно, с последним отчаянием или с последней надеждой, наш взор, так же как предсмертный взор «сраженного гладиатора», Герцена, обращается от одной из «двух наших родин» к другой, от Европы к России, от мрачного Запада к Востоку, еще более мрачному, хотя уже окровавленному не то зарей, не то заревом. Для Герцена этот «свет с Востока» было возрождение «крестьянской общины», для нас это — возрождение христианской общности. И тут опять возникает в начале XX века вопрос, поставленный в середине XIX: мещанство, не побежденное Европою, победит ли Россия?

IV

«Русская интеллигенция — лучшая в мире», — объявил недавно Горький.

Я этого не скажу, не потому чтобы я этого не желал и не думал, а просто потому, что совестно хвалить себя. Ведь и я, и Горький, оба мы — русские интеллигенты. И, следовательно, не нам утверждать, что русский интеллигент наилучший из всех возможных интеллигентов в наилучшем из всех возможных миров. Такой оптимизм опасен, особенно по нынешним временам в России, когда всяк кулик свое болото хвалит. Нет, уж лучше по другой пословице: кого люблю, того и бью. Оно больнее, зато здоровее. Итак, я не берусь решить, что такое русская интеллигенция, чудо ли она или чудовище, — я только знаю, что это, в самом деле, нечто единственное в современной европейской культуре.

Мещанство захватило в Европе общественность; от него спасаются отдельные личности в благородство высшей культуры. В России — наоборот: отдельных личностей не ограждает от мещанства низкий уровень нашей культуры; зато наша общественность вся насквозь благородна.

«В нашей жизни, в самом деле, есть что-то безумное, но нет ничего пошлого, ничего мещанского».

* Политика — дело каналов (фр.).

** Да здравствует звук, да здравствует звук Взрыва!

Ежели прибавить: а в нашей личной, а в нашей общественной жизни,— то эти слова Герцена, сказанные полвека назад, и поныне останутся верными.

Русская общественность — вся насквозь благородна, потому что вся насквозь трагична. Существо трагедии противоположно существу идиллии. Источник всякого мещанства — идиллическое благополучие, хотя бы и дурного вкуса, «сон золотой», хотя бы и сусального китайского золота. Трагедия, подлинное железо гвоздей распинаяющих — источник всякого благородства, той алой крови, которая всех этой крови причащающихся делает «родом царственным». Жизнь русской интеллигенции — сплошное неблагополучие, сплошная трагедия.

Кажется, нет в мире положения более безвыходного, чем то, в котором очутилась русская интеллигенция,— положение между двумя гнетами: гнетом сверху, самодержавного строя, и гнетом снизу, темной народной стихии, не столько ненавидящей, сколько непонимающей,— но иногда непонимание хуже всякой ненависти. Между этими двумя страшными гнетами русская общественность мелется, как чистая пшеница Господня,— даст Бог, перемелется, мука будет, мука для того хлеба, которым, наконец, утолится великий голод народный: а пока все-таки участь русского интеллигента, участь зерна пшеничного — быть раздавленным, размолотым — участь трагическая. Тут уж не до мещанства, не до жиру, быть бы живу!

Вглядитесь: какое на самом деле ни на что не похожее общество, какие странные лица.

Вот молодой человек, «бедно одетый, с тонкими чертами лица», убийца старухи-процентщицы, подражатель Наполеона, недоучившийся студент Родион Раскольников. Вот студент медицины, который потрошит своим скальпелем и скепсисом живых лягушек, мертвых философов, проповедует Stoff und Kraft* с такою же разбойничьей удалью, как ребята Стеньки Разина покрикивали некогда: сарынь на кичку! — нигилист Базаров. Вот опростившийся барин-философ, пашущий землю, Константин Левин. Вот стыдливый, как девушка, послушник, «краснощекий реалист», «ранний человеколюбец» Алеша Карамазов. И брат его Иван — ранний человеконенавистник, Иван — «глубокая совесть». И, наконец, самый необычайный из всех, «человек из подполья», с губами, искривленными как будто вечною судорогою злости, с глазами, полными любви новой, еще неведомой миру, «Иоанновой», с тяжелым взором эпилептика, бывший петрашевец и каторжник, будущая противоестественная помесь реакционера с террористом, полубесноватый, полусвятой, Федор Михайлович Достоевский.

За ними другие, безмянные, лица еще более строгого классического благородства, точно из мрамора изваянные, образы новых Гармодиев и Аристокитонов, Сен-Жюстов и Камиль Демуленов, гневные херувимы народных бурь. И девушки — как чистые весталки, как новые Юдифи, идущие в стан Олоферна, с молитвою в сердце и с мечом в руках.

А в самой темной глубине, среди громов и молний нашего Синая — 14 декабря — уже почти нечеловеческие облики первых пророков и праотцев русской свободы,— изваяние уже не из мрамора, а из гранита, не того ли самого, чью глыбу попирает Медный всадник?

Это все, что угодно, только не мещане. Пусть бы осмелился Флобер утверждать в их присутствии: la politique est faite pour la canaille. Он скорее бы сделался сам, чем сделал бы их,— черню. Для них политика — страсть, хмель, «огонь поедающий», на котором воля, как сталь, раскаляется добела. Это ни в каких народных легендах не прославленные герои, ни в каких церковных святцах не записанные мученики — но подлинные герои, подлинные мученики.

От ликующих, праздно болтающих,

* Материю и энергию (нем.).

*Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви.*

Когда совершится «великое дело любви», когда закончится освободительное движение, которое они начали и продолжают,— только тогда Россия поймет, что эти люди сделали и чего они стоили.

Что же это за небывалое, единственное в мире общество или сословие, или каста, или вера, или заговор? Это не каста, не вера, не заговор, это все вместе в одном — это русская интеллигенция.

Откуда она явилась? Кто ее создал? Тот же, кто создал или, вернее, родил всю новую Россию,— Петр.

Я уже раз говорил и вновь повторяю и настаиваю: первый русский интеллигент — Петр. Он отпечатлел, отчеканил, как на бронзе монеты, лицо свое на крови и плоти русской интеллигенции. Единственные законные наследники, дети Петровы,— все мы, русские интеллигенты. Он — в нас, мы — в нем. Кто любит Петра, тот и нас любит; кто его ненавидит, тот ненавидит и нас.

Что такое Петр? Чудо или чудовище? Я опять-таки решать не берусь. Он слишком родной мне, слишком часть меня самого, чтобы я мог судить о нем беспристрастно. Я только знаю — другого Петра не будет, он у России один; и русская интеллигенция у нее одна, другой не будет. И пока в России жив Петр Великий, жива и великая русская интеллигенция.

Мы каждый день погибаем. У нас много врагов, мало друзей. Велика опасность, грозящая нам, но велика и надежда наша: с нами Петр.

V

Среди всех печальных и страшных явлений, которые за последнее время приходится переживать русскому обществу — самое печальное и страшное — та дикая травля русской интеллигенции, которая происходит, к счастью, пока только в темных и глухих подпольях русской печати.

Нужна ли для России русская интеллигенция? Вопрос так нелеп, что, кажется иногда, отвечать не стоит. Кто же сами вопрошающие, как не интеллигенты? Сомневаясь в праве русской интеллигенции на существование, они сомневаются в своем собственном праве на существование,— может быть, впрочем, и хорошо делают, потому что слишком ничтожна степень их «интеллигентности». Поистине есть в этой травле что-то самоубийственное, граничащее с буйным помешательством, для которого нужны не доводы разума, а смирительная рубашка. Бывают, впрочем, такие минуты, когда самому разуму ничего не остается делать, как надевать эту смирительную рубашку на буйство безумных.

Среди нечленораздельных воплей и ругательств можно разобрать одно только обвинение, имеющее некоторое слабое подобие разумности,— обвинение русской интеллигенции в «беспочвенности», оторванности от знаменитых «трех основ», трех китов народной жизни.

Тут, пожалуй, не только «беспочвенность», готовы мы согласиться, тут бездна, та самая «бездна», над которою Медный всадник Россию «вздернул на дыбы»,— всю Россию, а не одну лишь русскую интеллигенцию. Пусть же ее обвинители скажут прямо: Петр — не русский человек. Но в таком случае мы, «беспочвенные» интеллигенты, предпочтем остаться с Петром и Пушкиным, который любил Петра как самого родного из родных, нежели с теми, для кого Петр и Пушкин чужие.

«Страшно свободен духом русский человек»,— говорит Достоевский, указывая на Петра. В этой-то страшной свободе духа, в этой способности внезапно отрывать от

почвы, от быта, истории, сжигать все свои корабли, ломать все свое прошлое во имя неизвестного будущего,— в этой произвольной беспочвенности и заключается одна из глубочайших особенностей русского духа. Нас очень трудно сдвинуть; но раз мы сдвинулись, мы доходим во всем, в добре и зле, в истине и лжи, в мудрости и безумии, до крайности. «Все мы, русские, любим по краям и пропастям блуждать»,— еще в XVII веке жаловался наш первый славянофил, Крижанич. Особенность, может быть, очень опасная, но что же делать? Быть самими собою не всегда безопасно. Отречься от нее — значит сделаться не только «беспочвенным», но и безличным, бездарным. Это похоже на парадокс, но иногда кажется, что наши «почвенники», самобытники, националисты, гораздо менее русские люди, чем наши нигилисты, отрицатели, наши интеллигентные «бегуны» и «нетовцы». Самоотрицание, самосожжение — нечто нигде, кроме России, невообразимое, невозможное. Между протопопом Аввакумом, готовым сжечься и жечь других за старую веру, и анархистом Бакуниным, предлагавшим, во время Дрезденской революции, выставить на стенах осажденного города Сикстинскую Мадонну для защиты от прусских бомб,— пруссакиде народ образованный, стрелять по Рафаэлю не посмеют,— между этими двумя русскими крайностями — гораздо больше сходного, чем это кажется с первого взгляда.

Пушкин сравнивал Петра с Робеспьером и в петровском преобразовании видел «революцию сверху», «белый террор». В самом деле, Петр не только первый русский интеллигент, но и первый русский нигилист. Когда «протоиерей всешутейшего собора» кощунствует над величайшими народными святынями, это нигилизм гораздо более смелый и опасный, чем нигилизм Писарева, когда он разносит Пушкина.

Русские крестьяне-духоборы, очутившиеся где-то на краю света, в Канаде, распустившие домашний скот и сами запрягшиеся в плуги, из милосердия к животным, это ли не «беспочвенность»? И вместе с тем это ли не русские люди? «Духоборчество», чрезмерная духовность, отвлеченность, рационализм, доходящий до своих предельных выводов, до края «бездны», сказавшийся в нашем простонародном сектантстве, сказывается и в нашей интеллигенции. Нигилист Базаров говорит: «Умру, лопух вырастет». Нил Сорский завещает не хоронить себя, а бросить где-нибудь в поле, как «мертвого пса»: в обоих случаях, несмотря на разницу в выводах, одна и та же бессознательная метафизика — аскетическое презрение духа к плоти. Интеллигентная «беспочвенность», отвлеченный идеализм есть один из последних, но очень жизненных отпрысков народного аскетизма.

Беда русской интеллигенции не в том, что она не достаточно, а скорее в том, что она слишком русская, только русская. Когда Достоевский в глубине русского искал «всечеловеческого», всемирного, он чуял и хотел предупредить эту опасность.

«Беспочвенность» — черта подлинно русская, но, разумеется, тут еще не вся Россия. Это только одна из противоположных крайностей, которые так удивительно совмещаются в России. Рядом с интеллигентами и народными рационалистами-духоборами есть интеллигентные и народные хлысты-мистики.

Рядом с чересчур трезвыми есть чересчур пьяные. Кроме равнинной, вширь идущей, несколько унылой и серой, дневной России Писарева и Чернышевского:

*Эти бедные селенья,
Эта скудная природа*

— есть вершинная и подземная, ввысь и вглубь идущая, тайная, звездная, ночная Россия Достоевского и Лермонтова:

*Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит...*

Какая из этих двух Россией подлинная? Обе одинаково подлинные.

Их разъединение дошло в настоящем до последних пределов. Как соединить их — вот великий вопрос будущего.

VI

Второе обвинение, связанное с обвинением в «беспочвенности», — «безбожие» русской интеллигенции.

Едва ли простая случайность то, что это обвинение в безбожии исходит почти всегда от людей, о которых сказано: устами чтут Меня, но сердце их далече отстоит от Меня.

О русской интеллигенции иногда хочется сказать обратное: устами не чтут Меня; но сердце их не далече отстоит от Меня.

Вера и сознание веры не одно и то же. Не все, кто думает верить, — верит; и не все, кто думает не верить, — не верит. У русской интеллигенции нет еще религиозного сознания, исповедания, но есть уже великая и все возрастающая религиозная жажда. Блаженны алчущие и жаждущие, ибо они насытятся.

Существуют многие противоположные, не только положительные, но и отрицательные пути к Богу. Богоборчество Иакова, ропот Иова, неверие Фомы — все это подлинные пути к Богу.

Пусть русские интеллигенты — «мытари и грешники», последние из последних. «Мытари и грешники идут в царствие Божие впереди» тех фарисеев и книжников, которые «взяли ключ разумения, сами не входят и других не пускают». «Последние будут первыми».

Иногда кажется, что самый атеизм русской интеллигенции — какой-то особенный, мистический атеизм. Тут у нее такое же, как у Бакунина, отрицание религии, переходящее в религию отрицания; такое же, как у Герцена, трагическое раздвоение ума и сердца: ум отвергает, сердце ищет Бога.

Для великого наполнения нужна великая пустота. «Безбожие» русской интеллигенции не есть ли это пустота глубокого сосуда, который ждет наполнения?

«Было же тут шесть каменных водоносов. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их доверху. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, тогда зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе».

Надежда наша в том, что наша Кана Галилейская впереди: водоносы наши стоят еще пустые; мы пьем вино худшее, а хорошее Архитриклион сберег доселе.

Достоевский, вспомнив как-то, лет через тридцать, один из своих разговоров с Белинским, восклицает с таким негодованием, как будто разговор происходил только вчера: «Этот человек ругал при мне Христа».

И делает неистовый вывод:

«Белинский — самое тупое и смрадное явление русской жизни». Тут какое-то страшное недоразумение. Страшно то, что Белинский мог ругать Христа. Но, может быть, еще страшнее то, что на основании этих ругательств Достоевский через тридцать лет мог произнести такой приговор над Белинским, не поняв, что если этот человек, как свеча сгоревший перед Кем-то, Кого так и не узнал, не сумел назвать по имени, — и не был со Христом, то Христос был с ним. Всякая хула на Сына Человеческого простится людям. Когда Белинский восстал на Гоголя, за то, что в «Переписке с друзьями» Гоголь пытался освятить рабство именем Христовым, то Белинский, Христа «ругавший», был, конечно, ближе к Нему, нежели Гоголь, Христа исповедавший.

О русской интеллигенции иногда можно сказать то же, что о Белинском: она еще не со Христом, но уже с нею Христос.

Не следует, конечно, на этом успокаиваться: Он стоит у дверей и стучит; но если мы не услышим и не отворим — Он уйдет к другим.

VII

«Безбожие» русской интеллигенции зависит от религиозного недостатка не во всем ее существе, а только в некоторой части его, — не в чувстве, совести, воле, а в сознании, в уме, intellectus'e, то есть именно в том, что интеллигенцию и делает интеллигенцией.

Может быть, самое слово это не совсем точно совпадает с объемом понятия. Сила русской интеллигенции — не в intellectus'e, не в уме, а в сердце и совести. Сердце и совесть ее почти всегда на правом пути; ум часто блуждает. Сердце и совесть свободны, ум связан. Сердце и совесть бесстрашны и «радикальны», ум робок и в самом радикализме консервативен, подражателен. При избытке общественных чувств — недостаток общих идей. Все эти русские нигилисты, материалисты, марксисты, идеалисты, реалисты — только волны мертвой зыби, идущей с Немецкого моря в Балтийское.

*Что ему книга последняя скажет,
То ему на душу сверху и ляжет.*

Взять хотя бы наших марксистов. Нет никакого сомнения, что это — превосходнейшие люди. И народ любят они, конечно, не меньше народников. Но когда говорят о «железном законе экономической необходимости», то кажутся свирепыми жрецами Маркса — Молоха, которому готовы принести в жертву весь русский народ. И договорились до чертиков. Не только другим, но и сами себе опротивели. И наконец, взяв своего Маркса, своего боженьку за ноженьку — да и об пол бряк. Или по другой поговорке: плохого бога и телята лизут — бернштейновские телята оплошавшего Маркса лизут.

Тянулась, тянулась канитель марксистская, а потом потянулась босяцкая. Сначала мы думали, что босяки-то уж, по крайней мере, самобытное явление. Но когда пригляделись и прислушались, то оказалось, что так же точно, как русские марксисты повторяли немца Маркса, и русские босяки повторяли немца Ницше. Одну половину Ницше взяли босяки, другую наши декаденты-оргиасты. Не успел еще скрыться Пляши-Нога, как поклонники нового Диониса запели: «Выше поднимайте ваши дифирамбические ноги!» (Вячеслав Иванов, «Религия Диониса», в «Вопросах жизни») Одного немца пополам разрезали и хватило на два русских «новых слова».

Глядя на все эти невинные умственные игры рядом с глубочайшей нравственной и общественной трагедией, иногда хочется воскликнуть с невольною досадою: золотые сердца, глиняные головы!

А эстетика деревянная. «Сапоги выше Шекспира» — этого, конечно, теперь уже никто не скажет словом, но это застряло где-то в извилинах нашей физиологии, и нет-нет да и скажется «дурным глазом» относительно всякой внешней эстетической формы, как бесполезной роскоши. Не то чтобы мы утверждали прямо: красивое безнравственно, но мы слишком привыкли к тому, что нравственное некрасиво; слишком легко примиряемся с этим противоречием. Если наша этика — «Шекспир», то эстетика наша иногда, действительно, немногим выше «сапогов». Во всяком случае, писаревское «разрушение эстетики», к сожалению, глубоко национально. Это — в русской, великорусской, природе: серенькое небо, серенькие будни —

Ельник, сосны да песок.

И здесь, в уме, интеллектуальности нашей, как в сердце и воле, тот же народный уклон к аскетизму, к духоворчеству, монашеский страх плоти и крови, страх всякой наготы и красоты, как соблазна бесовского. Отсюда — при отношении истинно религиозном к свободе внешней, общественной — неуважение ко внутренней, личной свободе, отсюда же у радикальнейших из наших радикалов — нетерпимость раскольников, уставщиков, взаимное поглядывание, как бы кто не оскормился, не осквернился мирскою скверною. И беспоповцы-реалисты, и поповцы-идеалисты, и федосеевцы-марксисты, и молокане-народники, — каждое согласие, каждый толк ест из собственной чашки, пьет из особого «лампадного стаканчика», не сообщаясь с еретиками. И у всех — одинаковый пост, отвлеченное рационалистическое сухоядение «Мяса не вкушаем, вина не пьем».

Говорят, преподобный Серафим Саровский питался долгие годы какою-то болотною травю сниткою. Все эти реализмы, идеализмы, монизмы, плюрализмы, эмпириокритицизмы и другие засушенные «измы», которыми доньше питается русская интеллигенция, напоминают траву снитку.

От умственного голода лица стали унылы, унылы, и бледны, и постны. Все чеховские «хмурые люди». В сердцах уже солнце восходит, а в мыслях все еще «сумерки»; в сердцах огонь пламенеющий, а в мыслях стынувшая теплота, тепленькая водица, подогретая немецкая *Nabersuppe** в сердцах буйная молодость, а в мыслях смиренное старчество.

Иногда, глядя на этих молодых стариков, интеллигентных аскетов и постников, хочется воскликнуть:

— Милые русские юноши! Вы благородны, честны, искренни. Вы — надежда наша, вы — спасение и будущность России. Отчего же лица ваши так печальны, взоры потуплены долу? Развеселитесь, усмехнитесь, поднимите ваши головы, посмотрите черту прямо в глаза. Не бойтесь глупого старого черта политической реакции, который все еще мерещится вам то в языческой эстетике, то в христианской мистике. Не бойтесь никаких соблазнов, никаких искушений, никакой свободы, не только внешней, общественной, но и внутренней, личной, потому что без второй невозможна и первая. Одного бойтесь — рабства и худшего из всех рабств — мещанства и худшего из всех мещанств — хамства, ибо воцарившийся раб и стал хам, а воцарившийся хам и есть черт — уже не старый, фантастический, а новый, реальный черт, действительно страшный, страшнее, чем его малюют, — грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам.

VIII

«Наша борьба не против крови и плоти, а против властей и начальств, против мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных».

Мироправитель тьмы века сего и есть грядущий на царство мещанин, Грядущий Хам. У этого Хама в России — три лица.

Первое, настоящее — над нами, лицо самодержавия, мертвый позитивизм казенщины, китайская стена табели о рангах, отделяющая русский народ от русской интеллигенции и русской церкви.

Второе лицо прошлое — рядом с нами, лицо православия, воздающего кесарю Божие, той церкви, о которой Достоевский сказал, что она «в параличе». «Архиереи наши так взнузданы, что куда хошь поведи», — жаловался один русский архипастырь XVIII века, и то же самое с еще большим правом могли бы сказать современные архипастыри. Духовное рабство — в самом источнике всякой свободы; духовное мещанство — в самом источнике всякого благородства. Мертвый позитивизм православной казенщины, служащий позитивизму казенщины самодержавной.

* Брюквенный суп (нем.).

Третье лицо будущее — под нами, лицо хамства, идущего снизу — хулиганства, босачества, черной сотни — самое страшное из всех трех лиц.

Эти три начала духовного мещанства соединились против трех начал духовного благородства: против земли, народа — живой плоти, против церкви — живой души, против интеллигенции — живого духа России.

Для того чтобы в свою очередь три начала духовного благородства и свободы могли соединиться против трех начал духовного рабства и хамства — нужна общая идея, которая соединила бы интеллигенцию, церковь и народ; а такую общую идею может дать только возрождение религиозное вместе с возрождением общественным. Ни религия без общности, ни общность без религии, а только религиозная общность спасет Россию.

И прежде всего должно пробудиться религиозно-общественное сознание там, где есть уже сознательная общность и бессознательная религиозность, — в русской интеллигенции, которая не только по имени, но и по существу своему должна сделаться интеллигенцией, то есть воплощением intellectus'a, разумом, сознанием России. Разум, доведенный до конца своего, приходит к идее о Боге. Интеллигенция, доведенная до конца своего, придет к религии.

Это кажется невероятным. Но недаром освободительное движение России началось в религии. Недаром такие люди, как Новиков, Карамзин, Чаадаев, как масоны, мартинисты и другие мистики конца XVIII — начала XIX века, находятся в самой тесной внутренней связи с декабристами. Это было и это будет. Религиозным огнем крестилась русская общность в младенчестве своем, и тот же огонь сойдет на нее в пору ее возмужалости, вспыхнет на челе ее, как бы «разделяющийся язык огненный» в новом сошествии Духа Святого на живой дух России, на русскую интеллигенцию. Потому-то, может быть, и оказалась она в полной темноте религиозного сознания, в своем «безбожии», что совершила полный круговой оборот от света к свету, от солнца закатного к солнцу восходному от Первого Пришествия ко Второму. Это ведь и есть путь не только русской интеллигенции, но и всей России от Христа Пришедшего ко Христу Грядущему.

И когда это совершится, тогда русская интеллигенция уже перестанет быть интеллигенцией, только интеллигенцией, человеческим, только человеческим разумом, — тогда она делается Разумом Богочеловеческим, Логосом России, как члена вселенского тела Христова, новой истинной Церкви, — уже не временной, поместной, греко-русской, а вечной, вселенской Церкви Грядущего Господа, Церкви Святой Софии, Премудрости Божией, Церкви Троицы нераздельной и неслиянной, — царства не только Отца и Сына, но Отца, Сына и Духа Святого.

«Сие и буди, буди!»

А для того, чтобы это было, надо разорвать кощунственный союз религии с реакцией, надо, чтобы люди, наконец, поняли, что значит это слово Слова, ставшего Плотью:

Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете (Евангелие от Иоанна. XIII, 36).

Не против Христа, а со Христом — к свободе. Христос освободит мир — и никто, кроме Христа. Со Христом — против рабства, мещанства и хамства.

Хама Грядущего победит лишь Грядущий Христос.